

ГЛАВА 8

В 8:45 батарея была построена на завтрак. Зимнее солнце светило ослепительно, но тепла не давало. Оно напоминало обедневшего дворянина, который, опираясь на княжеский титул, по инерции все еще блистает в высшем обществе, но за которого родители уже не готовы отдать своих дочерей.

Голод и холод терзали артиллерийскую колонну, построившуюся перед входом в казармы в направлении столовой. Холод усиливал голод. Голод усиливал холод. Огромный бешеный пес, символ Бригады Быстрого Реагирования, великолепно нарисованный — как и полагается в среде настоящих художников — голодным духом из автороты на дверях батальона два года назад, пытался сорваться с цепи и вцепиться в ляжку какой-нибудь роте. Тысячи раз гвардейцы второго мотострелкового вставляли к разъяренному кобелю задом или боком, глумясь над некормленной тварью, которая давным-давно стала для курсантов олицетворением ненасытности, а не побед ББР во второй чеченской.

Экономя тепло, батарейцы стояли, втянув головы в плечи. Они напоминали нахохлившихся воробьев, но не жалких, а стреляных и злых. Солдаты не вызывали жалости и не ждали ее. Они уже давно считали, что не служат, а отбывают срок. Мысль, что армия — та же тюрьма, не удручала их. Напротив, парни радовались, что служба

по какой-то нелепой случайности не останется позорным пятном на всю жизнь. После демобилизации годом страданий и шестью месяцами издевательств над другими можно и нужно будет гордиться. Можно и нужно будет вводить шокирующие подробности чужих и собственных зверств, которые не только не принизят рассказчиков в глазах слушателей, но и вызовут уважение.

Такое перевернутое отношение к армии не стало трагедией русского солдата в эпоху локальных войн. Стоило ему попасть в горячую точку, и начинались чудеса. Казалось бы, он должен был дезертировать при первом удобном случае, ведь зачастую не понимал, что и от кого ему надо защищать. Но солдат воевал, и воевал достойно. Подвиги появлялись из духовной пустоты, герои рождались из нравственного вакуума.

Обычная рота десантников, затравленно матерясь, вписывала очередную страницу в летопись воинской славы. И в легендах о подразделениях, павших в чеченских боях неизвестно за что, было больше чести, чем в рассказах о тех, кто знал, за что сражался. Обычные парни, многие из которых, быть может, за несколько месяцев до попадания в горячую точку косили от службы, вдруг продавали свои жизни так, как когда-то косили — дорого и без сомнений.

— Как же это? — удивлялась страна. — Откуда такой солдат?



А он был отовсюду и рождал мифы о себе. В нем было много от Одиссея, сражавшего по существу за самого себя, товарища справа и красивую мечту о чем-то только своем. Было ли у него глубокое чувство Родины? Нет, наверное, но точно было страдание с его стороны, такого молодого и полного сил, и сострадание к его несчастной судьбе со стороны народа. Из этих двух частей целого — страдания солдата и сострадания народа — Родина в кромешной тьме чеченской войны и общероссийской разрухи, наконец, начала медленно проявляться, как фотография в лаборатории. Еще не цветная, но уже черно-белая...

В курилке на улице разговаривали два друга-сержанта: Кузельцов и Саркисян.

— Ара, рано еще. В натуре, говорю — рано, — настаивал Кузельцов. — Не спелись они.

— А мне че?! — находясь в сильном возбуждении, ничего не хотел слышать Саркисян. — Мне надо! Позарез!

— Герц фальшивит. Закосячим¹.

— Я его на очках поселю!

— А толку-то?

— Мне к телке надо в воскресенье! Увал чтоб батя дал!

— Говорю — не спелись! Че такой дуболом-то?

— Брат, я бросил курить за день! Я сказал тебе: «Я бросил курить!» Я научился не курить за день! Нет, я научился не курить за минуту, потому что когда я сказал «Я бросил курить» — я уже не курил! Ты же видишь — я не курю! Если я курю, скажи «Ты куришь, брат», и я дам твоему Герцу тыщу лет! Миллион лет дам!

— Тут другая ситуация.

— Какая ситуация?! Батя на плацу!.. У моей телки есть подруга, кстати. Она твоя!

— Спасибо, конечно, но это не поможет.

— Когда ты был духом, а я слонем, я вещи делал для тебя, красиво делал! Заставь Герца, делай че хочешь, мне по фигу!

— Ты не понял.

— Это ты не понял! Я влюбился! Я жить без нее не могу, жрать не могу, я курить без нее хочу! И я закурю сейчас!.. Оди-и-и-ин!

Услышав приказ, батарейцы закрутили головами, как локаторными установками, определяя местоположение замкомвзвода.

— Сука, один! — повторил Саркисян.

¹ Испортить (сленг).

— В курилке. Злой, — вспыхнули две красные лампочки в мозгу стоявшего в последней шеренге курсанта Колпакова, круглолового, женоподобного и неторопливого, но все успевавшего парня. — И он побежал за угол.

Фейерверкеры выдохнули. Те, кто любил Колпакова, с почестями возложили мысленные венки на место в шеренге, где он только что стоял. Те, кто его недолго любил, отделались четным числом одуванчиков — не миниатюрными копиями подсолнухов, а обгрызенными серыми глобусами, с которых под порывами ветерка десантировались две трети парашютистов.

Кстати, Колпаков жив и здоров. Мы с ним земляки, читатель, и буквально вчера разговаривали по телефону.

— Лис, че там в Абакане творится? — спросил он. — Ни фига СаШа (Саяно-Шушенская ГЭС) дала!

— Че, че — бегут, — ответил я. — Хлебом, спичками, мылом затариваются и ноги делают. На заправках — очереди.

— Через нас бегут. Я с напарником на смене, запарился уже (Колпаков работает в ГИБДД). Че по телику толмачат?

— Тело плотины не задето.

— По-любому — врут. Думаешь, приплыли?

— Говорят, что нет.

— Ага, как с Чернобылем. Но пусть лучше врут, согласен? Я бы врал, чтоб без паники, а то вообще, да?

— Да, так лучше... Колпак, ты разговорам по сотовым не верь. Все равно никто толком ничего не знает.

— Я и не верю. Че мне верить, если я до тебя кое-как дозвонился. Перебои. Вся Хакасия на трубках... Че думаешь делать?

— Остаюсь в городе.

— Я тоже. Жену с ребенком сплавлю, а сам останусь.

— Уж не мародером ли? — рассмеялся я.

— Им самым, — расхохотался в ответ Колпаков. — Буду, как дед Мазай, зайцев в магазинах ловить и сажать.

— В лодку?

— Туда, туда.

— Блин, опять понаплыли тут. Как саранча. Заколебали уже.

— Че злишься-то? Работы привалило?

— Да не работа! Че бегут-то так?

— Детей спасают, че.

— Тут до фиги, кто себя спасает!

— Ну и че такого?

— Да ни хрена! Ты их лица видел?

— Ну видел, и че?

— Ты уверен, что у нас все нормально с такими лицами? Такие все маленькие, скукоженные лица у баб. У мужиков такие же, только с понтом на спасателей семей. Смазанные у них лица сегодня, никакие. У всех сотовые в руках. Типа, мы тут не тупо бежим, а бежим, владея последней информацией, хотя никто ничего не знает путем. Типа, это подвиг — бежать с последней информацией! А если б знали, че почем, еще хуже было бы! Начали бы глотки друг другу грызть за место в шлюпке! Они не достойны информации. Никто! Ни жить, ни умирать, ничего толком не умеем, все через одно место. Хрен им всем! Выстоит СаШа. Ради того только, чтобы нам всем стыдно было.

— Уверен.

— Отбой, Лис.

— Отбой.

В общем, от женоподобного, мягкого, уравновешенного и сдержанного Колпакова, которого я знал в части, не осталось и следа.

Войдя в поворот юзом, Колпаков почувствовал мягкий и пушистый удар в лицо. Это была шапка заждавшегося Саркисяна.

— Кузя, ты посмотри на них, — начала закипать армянская кровь у омича во втором поколении. Они медленнее черепах! Пока он прибежал, прошла зима, весна, осень, лето. Я успел вспахать огород, посадить картошку, протяпать ее, окучить и вырыть. И тут является Колпак на все готовенькое! Является пожрать!

— Армян, ну че ты как маленький?

— Я для них все, а они для меня — ничего, — обиженно произнес Саркисян, на сто процентов уверенный в том, что он действительно для них все, а они для него — ничего.

— Товарищ старший сержант, рядовой Колпаков по вашему приказу прибыл, — тихо напомнил о себе Колпаков.

Кузельцов произвел резкое движение головой в сторону, какое делает футболист в борьбе за поданный с углового удара верховой мяч. Это могло означать только одно: забейся куда-нибудь, Колпаков.

После красноречивого жеста Кузельцова курсанта сдуло из курилки волшебным ветром. Стихия была необычайно сильной и попутной. Видно, происходила она от того шторма, который помог Колумбу открыть Америку, или же того урагана, который опустил домик Элли на голову Гингеми. Словом, пронеся Колпакова на север метров шесть с половиной, ветер резко принял вправо, на Японию (по-научному повер-

нул на восток), и доставил курсанта на его место в шеренге, засыпанное мысленными венками и одуванчиками.

— Саня, я влюбился, — так тепло произнес Саркисян, что весна почувствовала себя дрянью, услышав такое и не наступив. — Небо, оно же ведь, оказывается, синее-пресинее, а не синее.

— Я бы даже сказал — в розовом цвете, — пошутил Кузельцов.

— Смеешься?.. Ты бы видел ее.

— Ты о Машке, поди? Армян, она же...

— Ты че хочешь сказать, что она некрасивая, что ведет себя как-то не так? — гневно перебил Саркисян.

— Нет, она красивая, да. Но она, как бы тебе сказать-то? Она... безотказная, что ли, если можно так выразиться.

— Заткнись, я ничего не хочу знать! — зажав уши, вскричал Саркисян, и на его лице появилась гримаса боли.

— Все, все, успокойся, — взяв друга за плечи, произнес Кузельцов. — Я имел в виду, что безотказность в каком-то смысле тоже хорошее качество, если смотреть не предвзято.

— Сволочь!.. Сволочи, я знаю, что вы думаете о ней!

— Да-да, у меня просто несовременные подходы. Машка, она действительно...

— Мария!!!

— Мария, Мария. Не блажи только.

— Ты ей в рот давал! Вы все! Вы, вы!

За время короткого диалога смех уже успел истрадаться в груди Кузельцова, как евреи в египетском плену, и просил исхода. Сержант покраснел от натуги. Саркисян щеголял ему по ребрам без приложения рук. Когда веселые предательские всхлипы вот-вот должны были начать самопроизвольно выбрасываться из Кузельцова толчками, он заставил себя подумать о плохом. С энтузиазмом взялся он хоронить родственников. Любимые тетки оказались не такими уж и любимыми, как ему представлялось, и Кузельцов за неимением времени и сил противостоять хохоту просто вынужден был оставить в живых и племянницу, и трех двоюродных братьев, и дядьку из Нижнекамска, и двух бабок, и деда-ветерана, и даже отца с сестренкой Дашенькой. После теток он, недолго думая, отправил в досрочную могилу родную мать. Не дав себе передохнуть, Кузельцов для усиления горя молниеносно воскресил убиенных им теток, чтобы на фоне смерти матери всеобщая жизнь казалась преступлением, а потом, что называется, до кучи похоронил себя за оградой кладбища, как самоубийцу. Сработало.

— Базар фильтруй, — напал Кузельцов. — Ей никто не давал! Ее даже никто не трахнул! Может, ты ее, сволочь, поимел?!

— Сань, ты не гонишь¹? — схватил друга за грудки Саркисян.

— Слухам поверил. Все, я теперь с тобой в разведку не ходок.

— Так я ж не с разведзвода вроде.

— Так говорят просто, нерусь, — пояснил Кузельцов и махнул рукой: «А-а-а, че тебе объяснять? Один черт не поймешь, в диаспоре надо меньше ошиваться».

— Сам ты нерусь, — обиделся Саркисян. — Чуть что, так сразу нерусь.

— Я, может, сам почти в нее втюрился, а теперь все — нельзя! Потому что ты мне друг... был.

— Не был — есть! Саня, не был — есть! Мы их всех заткнем, да?

Кузельцов вскинул брови, но твердо кивнул в знак согласия.

— И взводного с махры? — нажимал Саркисян.

— Дизель так дизель, че теперь.

— Спасибо, Сань. Я ведь понимаю, кто она. Она даже не за бабки... Ей нравится.

— Что?! — оторопел Кузельцов от такого поворота. — Ах, ты! Нет, ну ты!

— Но ты ведь тоже!

— Нет, ты пацана, что ли, во мне увидел?! Я за шалаву последнюю подписался, на которую ты — ты запал! Она мне никто, а я за нее в дисбат!.. Ну все. Она мне сестра теперь, и ты поимеешь ее только после свадьбы. Только когда я разрешу!

— Это мое личное дело, — заявил Саркисян.

— На тебя заведут личное дело, если ты к ней прикоснешься. Все-все, ты любовь свою продал, ты и меня — ты всех теперь продашь! У тебя не хватило смелости посмотреть правде в глаза. Ты не сказал: «Она шалава, ну и что? Я все равно люблю ее». Ты трус и эгоист, Ара... Герц делает то, что надо сделать, чтобы ты пошел в увал. Сделает. И я хочу, чтобы она послала тебя. Она большего достойна. Базар окончен.

Бормоча «надо же, повелся, как пацан», Кузельцов направился к колонне. Опустив голову, Саркисян поплелся за другом.

Вдалеке, на плацу, расходился в песне пехотный запеваля, прозванный дядей Степой за высокий рост.

— Батарею поведу я, — обратился Кузельцов к своему замкомзвода Котлярову, глядя на плац.

¹ Врать (сленг).

— А че так? — спросил Котляров, старший сержант с вкрадчивыми кошачьими манерами и каким-то не по-мужски размытым, как некачественная фотография, характером.

— Надо, — буркнул Кузельцов, не желая вдаваться в объяснения, и подумал про Котлярова: «Хоть бы уж сволочью был, а то ни то ни се, стоять рядом запахло».

— А то я могу, комбат здесь, — подлизался Котляров, хотя понимал, что это лишнее.

— Батарея! — пропустив мимо ушей реплику Котлярова, обратился Кузельцов к колонне. — Слышите, как поет этот пидор с махры? Че там говорить — здраво поет. Задиристо поет, как петух спозаранку, высоко, как кастрат, поет. Но яйца с хреном у него есть, иначе не призвали бы. Значит, он талант. И все-таки ему чего-то не хватает. Чего, интересно?

— Мозжечка! — весело резанул кто-то из последних рядов.

Раздались смешки. Курсанты вполголоса принялись обсуждать отсутствие мозжечка у дяди Степы и до того развили тему, что пришли к твердому убеждению, что отсутствие мозжечка — это заразное, и что все пехотинцы из-за дяди Степы теперь без мозжечка, и только комбат с мозжечком, так как был привит еще в училище.

Посмеиваясь вместе со всеми, Кузельцов то и дело поглядывал на понурого Саркисяна. Внезапно Кузельцов стал серьезным. Серьезность на его лице быстро сменилась печалью — той наносной печалью приличия, в которую облачаются люди, хоронящие седьмую воду на киселе и берущие организацию похорон на себя, так как близкие родственники раздавлены горем и ничего не соображают.

Настроение духов заглядывало в рот настроению Кузельцова.

— Ответ хороший, а нужен верный, — сказал Кузельцов. — Как думаешь, Герц?

— Дядя Степа больше тащится от себя, чем поет, — прозвучал ответ. — Еще неделя плотных репетиций — и мы с Доржу его заткнем.

— У вас нет недели, затыкать будете сегодня.

— Уже сегодня?... Как?

— Как пробоину.

— Но товарищ сержант... Еще ведь спотыкаюсь на верхних этажах.

— Костыли возьми.

— Есть, — уныло сказал Герц. — Постараюсь.

— Не постарайся, а как надо!

— Спою.

— И как, интересно?

— Как... одинокий пастух в поле.

— Не понял.

— Для коров в тоске по людям.

— А Доржу тогда как под тебя подстраиваться?

— Пусть поет, как чабан на сцене.

— Типа, для людей в тоске по баранам? — спросил Кузельцов и, ухмыльнувшись, бросил: — Ну и кадры! Кому расскажи — не поверят!

— Кадры как кадры, — исподлобья посмотрев на Кузельцова, сказал Герц.

— Ладно, не грузись... Как остальным-то петь?

— Как обычно. Орать.

— Замочу пидора, — произнес сержант Литвинов, стоявший впереди Герца, и, не оборачиваясь, ударил Александра локтем в живот. — До фига умничает. Бесит — отвечаю.

Черпака Литвинова, командира третьего отделения ПТУР-взвода, боялась и ненавидела вся батарея. Это был бесстрашный, решительный, волевой и жестокий сержант с массивной квадратной челюстью и маленькими глазами, сверкавшими из глубоких глазниц, как пулеметные огни из амбразур дзотов. Никто не мог вынести его тяжелого, как бетонная плита, взгляда. Однажды Герц ради эксперимента решил проверить, сможет ли он смотреть в глаза Литвинова дольше обыкновенного и не сломаться. Взгляды скрестились на взлетке. Герц сразу ощутил панический страх, хотя не было никакой реальной опасности. Александр вспомнил переживания из далекого детства: двоюродный брат накрывает его голову подушкой и начинает всем весом придавливать к койке. Кромешная тьма, нехватка воздуха, конвульсивные движения тела и запертый в груди крик: «Мама!» Словом, Герцу дорого обошелся его эксперимент. Если бы в момент сцепки взглядов Александру был отдан приказ «На очки!», то он бы опомнился только тогда, когда от его активных действий в туалете запахло бы весной или, скажем, мятой (чтобы избавить уборную от вони, курсанты регулярно мазали косяки и двери пастой «Жемчуг»). Герц должен был благодарить Бога за то, что во время его эксперимента Литвинов находился в добром расположении духа и пулеметы в амбразурах сержантских глазниц молчали. Водилась за сержантом одна слабость, шедшая вразрез с его ярко выраженным мужским началом и вызывавшая брезгливость у духов. Когда у Литвинова было хорошее настроение, он начинал душевно беседовать с курсантами «за жизнь». Все бы ничего, но во время таких бесед голос сержанта становился косолапо-женским, как у неопытного (впрочем, как и у опытного) представителя сексуального меньшинства, и кур-

санты начинали подумывать о том, что лучше им все-таки не нравиться сержанту, чем нравиться ему. Между собой духи звали Литвинова черно-голубым и боялись вспышек его доброты не меньше, чем приступов ярости. Правды ради надо отметить, что сержант не относился к разряду «иных» или же успешно подавлял свою небесного цвета натуру. Если он и трахал курсантов, то всегда делал это приличными частями тела: руками и ногами.

— С хрена ли ты моего духа долбишь¹? — с недовольством спросил Кузельцов у Литвинова.

— Залупастый потому что.

— Че это?

— Умничает до фига.

— Он здравый, не фиг его долбить.

— Здравые шарят². А он тебе че зашарил?

— А тебя колышет?! Когда проверка прикатывает, моих, если что, дневальными ставят. Потому что они шарые. Они подпола³ дважды майором не назовут, как твои.

— Зато мои балабас мне тащат.

— Нехватан, что ли?

— При чем тут это?

— Притом. Твои балабас притаранивают⁴, чтобы тебя накормить, утробу твою напичкать. В данном случае балабас — это тупо жратва. Потому что ее много. А мне децл зашаривают, если конечно, не Фаненштиль с Павлухой работают. В моем случае балабас — это снесь. А если Герц сопрет — так вообще деликатес. Потому что он три ночи потом не спит. И, сука, не из-за страха не спит, что спалят. Из-за совести, что он — вор, и вор шестерочный, мелкий. Он два раза через себя переступает, когда на дело идет. Через совесть, которой у твоих обезьян, как воздуха в вакууме, и через гордость, которой у твоих пидоров вообще как жирафов в тайге. Ты хоть раз видел, чтоб твой Пузов ворочался по ночам от слова «вор»? Чтоб бессонница у него на почве загноившейся совести была? А ведь завтра всегда рано вставать! Всегда в шесть и иногда в двадцать минут седьмого, если ты черпак или дед и дежурный по бату какой-нибудь пиджачок⁵ вроде Колтыша.

«Надо же, оценил, — подумал Герц. — И добил⁶ неплохо насчет шестерочного вора».

¹Привязаться, пристать (сленг).

²Соображать, умело красть (арм. сленг).

³Подполковник (арм. сленг).

⁴Притаскивать (сленг).

⁵Офицер, не окончивший военное училище (арм. сленг).

⁶Доработать (сленг).

— А че за кипеж вообще? — равнодушно спросил низкорослый сержант Кирдяшкин по прозвищу Старый.

Кирдяшкин был сразу рожден дедом, и духи готовы были поклясться, что стадия духанки прошла мимо него. От усталого и равнодушного вида сержанта, ленивых и размеренных движений его души и тела всем казалось, что тянет он армейскую лямку не второй год, а контрольный для царской армии — двадцать пятый. У автора язык не поворачивается сказать, что Кирдяшкин избивал курсантов. Крепкой старческой рукой он просто задавал им добрую порку, которая является обычаем во взаимоотношениях строгого деда и внуков-шалунов. Сержант никогда не наказывал курсантов за дело. Он предпочитал заниматься профилактикой преступлений и преступлений в кавычках. Даже в том случае, если бы Кирдяшкин остался единственным дедом во всей армии, духи все равно не решились бы поднять на него руку. Он был «стариком» Божьей милостью, а не выскочкой, который после демобилизации срочно омолаживается и начинает волочиться за дамами, как избитый анекдотами поручик Ржевский. Автору доподлинно известно, что на гражданке Кирдяшкин остался верным себе и обихаживал дам, как когда-то охаживал духов. С чувством, с толком, с расстановкой, словом, как «седина в бороду — бес в ребро», а не так, как молодые вертопрахи.

Единственный недостаток — и тот водился за сержантом старческий. Он был занудой. Построив отделение перед своей кроватью перед отбоем, он монотонным голосом брюзжал курсантам о былых временах, когда духи шуршали как надо. Артиллеристы, вероятно, из интереса к рассказчику смежались глаза, как поступает красавица перед поцелуем с любимым парнем, опускали голову на грудь, как это иногда делает из стыдливости все та же красавица после губного соития, и переносились в одну и ту же былинку, в которой Кирдяшкин ходил в духах у Ипьи Муромца. Случалось, курсанты заваливались назад или вперед, возможно, от удивления перед былинным прошлым сержанта. Заваливались, но не падали, потому что предусмотрительно выстраивались плечом к плечу, чтобы в случае чего не дать стоявшему сбоку товарищу изумиться сверх меры.

— Да строевую надо здраво славать⁷, — пояснил Кузельцов Кирдяшкину. — Армяну увал позарез нужен.

— Споют, поди.

⁷Спеть (сленг).

— Спеть-то сплот... Но всем бы желательно.

— Я свое отпел.

— Для Армяна.

— Сразу бы сказал.

— Так я так и сказал.

— А-а-а, — проснулся Кирдяшкин и лениво об-
ратился к батарее: — Чтобы пели мне.

— Короче, стараемся, — сказал Кузель-
цов. — Плохо стараемся — космический завтрак.
Между началом и концом — две секунды зазо-
ра. Для доброй половины батареи это голодная
смерть, для Пончика и Калины — полуголодное
существование. Первый успеет запустить в себя
пару весел¹, второй протянет на остатках под-
кожного жира. — Нервные смешки в шерен-
гах. — Не пожрет никто. Ни вы, ни я, ни Старый,
ни Армян, никто.

— Деды-то тут при чем? — равнодушно заме-
тил Старый и махнул рукой. — Хотя ладно, в чипке
побалабасим.

— Будем считать, что уловили, — сказал Ку-
зельцов. — Герц затягивает, Доржу подхватыва-
ет, остальные — припев. Печатать шаг и за себя,
и за сержантов. Следить за командами. Махра с
«колесами» дали по кругу, мы делаем три. У кого
нет голоса, орите кишками, они не подставят...
Батарея, равняйся! Смирно!

Настраиваясь, Кузельцов скомандовал сам
себе «в походную колонну!», затем — «поротно!»
и застыл, выискивая на плацу комбата... Увидел.

— Шаго-о-о-о-о-ом, — затянул Кузельцов ко-
манду до предела, и батарейцы подались грудью
вперед так, что стали похожи на лыжных прыгу-
нов с трамплина в воздухе, — марш!

Колонна резко качнулась взад-вперед, как
вагонный состав перед началом движения, и тро-
нулась в путь бодро и одновременно с сосавшим
сердце страхом. Должно быть, так новобранцы
41-го года маршировали по завьюженной Крас-
ной площади на фронт, чтобы не победить или по-
гибнуть, а победить и погибнуть. За Союз...

— Четче шаг! — скомандовал Кузельцов.

И уже не было индивидуальностей и личностей,
за свободное становление и развитие которых так
ратует демократия. Было тоталитарное целое с
единой целью, печатавшее шаг так весомо, как
будто хотело выхлопнуть из асфальта гравий.

Павлушкин любил ходить строем. Синхронный
марш батареи дисциплинировал мысли и чувства
Ильи, поддерживал и усиливал их благодаря тому,
что его собственный удар о землю подкреплялся
сорока девятью одновременными ударами то-

варищей. Павлушкин отдавался строевому шагу
телом и душой, как отдается девушка любимому
телом, поэтому в порыве сладострастия иногда
забывался, вступал правой ногой вместо левой
и становился личностью, за которую так печется
демократия.

Герц относился к маршировке лояльно.

«У России должна быть национальная
идея, — размышлял он. — Раз у нас в данный
момент ее нет, значит, пока надо потрениро-
ваться всем вместе ходить к ней, как в столовую
или в баню. Надеюсь, она вообще не появится.
Надеюсь, появятся они. Идеи. Миллионы разных
идей: хороших, красивых и умных. И пусть идеи
конкурируют между собой, как товары и услуги
в рыночной экономике. Пусть будут большие и
миниатюрные идеи, и ни одна из них никогда не
проигрывает, а тем более не выигрывает. Пусть
люди переходят из одной идеи в другую, если
им хочется. Пусть все будет полезно, интерес-
но, изящно, прекрасно и легко, без надрыва.
Вот вам и ренессанс. Грубая мини-модель наци-
ональной идеи — солдатский завтрак. Все идут
на него вместе, идут есть, а дальше — деления.
Мне больше по душе чай, и я иду прежде всего
за чаем. Павлушкин топает в первую очередь за
хлебом с маслом, Куулар — за встречей с зем-
ляками из соседних батальонов. Этот чай, это
масло, эти земляки — не что иное, как культура,
наука, свобода, либерализм, братство, право-
славие, ВВП и что там еще? Да, я иду за чаем, но
завтрак не будет полноценным, если я не съем
хлеб с маслом. Идем. Не зная куда, но идем,
не стоим. Все впереди. Только бы глупостей не
натворить. Дозреть. А пока активно постоим.
Прогрессивно подождем. Мужественно по-
трусим».

— Правое плечо — вперед! — отдал приказ Ку-
зельцов, и батарея вступила на плац.

Герц заволновался. Ему в голову внезапно
пришла идея описать в песне военную историю
России за двадцатый век. Это было в духе Герца.
За месяц службы Герц научился строго следовать
армейским канонам и, научившись, начал привно-
сить творчество во всякое дело — то допустимое
творчество, которое не увидишь глазами, но раз-
личишь сердцем. Он стал иконописцем от армии,
Рублевым Вооруженных сил.

Его мозг родил и подкинул сердцу на первый
взгляд никому не нужную, чуждую времени и об-
стоятельствам мысль; так мать подкидывает под
двери людям незаконнорожденного ребенка.
Мороз на улице. Ребенка надо было или срочно
заносить в дом, или бросить замерзать. Кровь

¹Ложка (арм. сленг).



прихлынула к бедовой голове Герца, как волны Красного моря к берегам Израиля. Холодные елочные иглы стали покалывать в сердце... Сомнения: надо или нет?... Кто бы сомневался!

— Строевая первого бата, второй роты! — занес Герц малыша в тепло.

Кузельцов не дал растеряться колонне.

— Счет! — прозвучала команда сержанта, точная и негромкая, как выстрел из снайперской винтовки с глушителем.

— И-и-и р-р-аз! — сложив руки по швам, сделав равнение на шагавшего справа Кузельцова, гаркнули курсанты.

Сержант быстро подошел ко второй шеренге, в которой был Герц.

— Куда тебя понесло? — спросил Кузельцов и нервно: — Урою. Армян на кону.

— Дайте сыграть, — попросил Герц. — Попурри сделаем, это типа песенного оливье. Комбату должно понравиться.

— Уверен?

— Не совсем.

— Ты меня дрочишь?

— Риска почти никакого.

— Почти?

— Сами же учили говорить вам правду.

— Дрочишь, короче.

— Никакого! Скажите только, чтоб внимательно слушали меня.

— Другое дело. Слушать Герца всем! Счет!

— И-и-и два! — крикнули курсанты, на законных основаниях отворотили от сержанта носы и заработали руками.

Кузельцов насильственно откачал из Герца неуверенность в успехе предприятия, так сказать, сделал духу липосакцию, освободив его от целлюлита сомнений, и вполне успокоился за результат. Сержант знал своих курсантов как облупленных. В данном случае Герц, что называется, мог.

Раз инициатива появилась, то она должна быть не жирной и дряблой, а стройной и подтянутой. С каким бы предложением ни обратился к тебе человек, не подтирай ему нос, но и не гноби его; я так считаю, читатель. Пусть реализовывает свои идеи, а пустопорожние они или гениальные — покажет время.

Не вздумай также спонсировать удалца. Все гениальное просто, а простоту как-то глупо зажимать, привечать, а тем более — финансировать. Взять хоть нашего брата, писателя. Если ему требуется издатель, спонсор, агент, государство, чтобы действовать, то он должен пропасть для всех без вести, читатель. Не живой и не мертвый — вот он кто для всех; мы не изверги, дадим ему шанс как объявиться, так и кануть навеки, как неизвестному солдату-герою. Чтобы написать «Анну Каренину», нужны только ручка и тетрадь. Пятьдесят рублей. Ну или там сто пятьдесят, если труд многотомный. И все...

Что, что? Энергетические затраты? Это все чепуха, читатель. Это все невещественные субстанции, которые к миру животрепещущей плоти и пульсирующей крови не имеют ни малейшего отношения. Они заявляют: «Я душу вложил в книгу». Нет, я не спорю с тем, что душу можно вложить, заложить, продать, разрушить, спасти и т. д. Но дайте мне хотя бы единицу измерения души, чтобы все по-честному. Вес души дайте. В килограммах и граммах. Или там в сантиметрах. В сантиметрах, а не в сантиментах. Бог с ним — даже в сантиментах, в жалобах, нытье, слезах и соплях авторов, но чтобы точно. И в соплях разве можно душу измерить? Да легко! Подставляй мензурку к носу — и все. Есть среди нашего брата и брезгливые, я все понимаю. Не хотите в соплях — меняй их на менее противные слезы, и опять не ленись подставлять колбу к глазам во время работы.

На первых порах, конечно, возникнут споры, что лучше: сопли или седые волосы. Но потом все образуется. Введутся единые стандарты. И даже дойдет до того, что сопли (если это будут сопли, конечно) лучше измерять не в литрах, а в метрах, потому что «зеленые» хорошо тянутся, подставляй линейку к носу — и все. И непременно вырабатывается какой-нибудь сопливый порог в размере 17,2 дм соплей, после преодоления которого авторам будут давать молоко за вредность. Не обойдется и без оборотней пера, которые станут щеголять по морозу голышом и искусственно зарабатывать насморк. И тут восстанут на соплежуев поборники седых волос, которые докажут, что каждую выцветшую волосинку гораздо легче пересчитать, чем измерить длину соплей. Стоит только вызвать специалиста в виде обманутой писательской жены; творческие натуры падки на свежих муз, обычно являющихся к ним в образе любовниц.

Читатель, где современный Толстой?! Знаешь, тут с немкой разговаривал, и она мне вопрос на

засыпку: «Что есть современная Россия?» Я ей океан сумбурного текста выдал, а мог бы лужицу: «Читай такого-то». Но нет Толстого! Нет Толстого, а Достоевского и на дух не надо! Зачем нам сейчас углублять нравственность?! Сначала надо расширить понятия до нравственных законов, а потом уже будем запахиваться. Всему свое время. Хотя понятия за неимением лучшего тоже ничего... Хорошего.

— По военной дороге шел в борьбе и тревоге боевой 18-й год! — завел Герц строевую песню первого батальона второй роты.

— Были сборы не долги, от Кубани и Волги мы коней поднимали в поход! — подхватил Доржу.

— Среди зноя и пыли мы с Буденным ходили на рысях на большие дела! — соединились голоса Павлушкина и Герца в разудальи, веселый и воинственный крик, как казаки — в круг на картине Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану».

— По курганам горбатым, по речным перекатам наша громкая слава прошла! — дважды проорала припев батарея.

Залихватский посвист Уварова (самое любимое и, несомненно, самое сильное место в строевых песнях солдат всех времен).

— Буденновцы недобитые, — довольно усмехнулся комбат в усы.

Действительно, перед комбатом маршировали люди с лицами участников Гражданской войны на стороне красных. Как это получилось у батарейцев, можно только гадать. Ну, с Герцем, допустим, все обстояло более или менее понятно. Он вложил в песню «Тихий Дон» учебник по истории за двадцатый век на тридцать седьмой — пятидесятой страницах и телепередачу о Деникине до просьбы мамы вынести мусор. Но как стал вылитым буденновцем необразованный тувинец Доржу? Наверное, его как бы завербовали, читатель; других предположений у меня нет. Завербовали, как того безграмотного крестьянина из Тамбовской губернии, которому при всем желании невозможно было растолковывать, что такое мировая революция, а что такое служба за харчи в голодную годину, сами понимаете, и объяснять никому не надо. Батарея подстроилась под запевал, и куплет выгорел.

— Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой! — переваливаясь со слова на слово, как медведь с лапы на лапу, запел Герц.

— С фашистской силой темною, с проклятою ордой! — наглухо примкнули семь слов Доржу к семи словам Герца, как штыки к винтовкам перед атакой.

— Пусть ярость благородная вскипает, как волна, идет война народная, священная война! — поднялись вслед запевалам остальные артиллеристы.

Однако комбат не расчувствовался, несмотря на то, что эта песня, как известно, является ведущей фирмой-производителем мурашек по коже. Хотелось бы сказать, что причина холодности комбата крылась в том, что Герц выпустил из вида финскую войну. Финской войны у нас так мало, читатель, что охота тысячу страниц исписать словосочетанием «финская война». До ряби в глазах! Финская война, финская война, финская война! Да, очень бы хотелось, чтобы равнодушные Джалилова к «Священной войне» объяснялось финской войной, но нет. Объяснение тут другое. У объяснения даже есть фамилия, имя и воинское звание прапорщик.

— Угнали КамАЗ из бокса, — с замирием сердца докладывал Джалилову низкорослый, молоденький и простодушный командир взвода материального обеспечения товарищ Самусев, — выехали за пределы части, снесли три грибка на детской площадке. — Он перешел на скороговорку, как будто она могла оправдать проступок. — Но с места преступления не скрылись, не скрылись, восстанавливают, не скрылись они, не сбежали!

— Ты-то куда смотрел?! — прогрохотал комбат, сдвинув брови в крышу грубого таежного сруба.

— Но ведь не скрылись же, — уставившись в пол, пробормотал Самусев скорее для себя, чем для комбата, и, подняв чистые глаза свои, добавил тихо: — А могли бы.

— Да лучше б скрылись, — устало сказал Джалилов. — Опять жди разноса.

— Я так не думаю.

— Насчет разноса?

— Что лучше б скрылись, товарищ подполковник.

— Все, все, иди уже, Самусев, — махнув рукой, произнес Джалилов. — Иди, я сказал.

Герц запел «Десятый наш десантный батальон». Из уважения к подвигу дедов Александр не посмел покрыть расстояние от 41-го до 45-го галопом. Он посчитал своим долгом остановиться на ночлег в 43-м, чтобы, остановившись, сразу уйти в ночь с десятим десантным батальоном. Без предупреждения вырезав начало песни, как разведчики вырезают вражеских часовых, Герц бессовестно приватизировал строчку из припева, которая по армейскому закону, как, впрочем, и весь припев, принадлежала не индивиду, а всему подразделению. Человек, занявшийся привати-

зацией, как принято, хочет, чтобы никто ничего не понял, а потом, когда уже поздно, пусть орут во всю ивановскую. Герц так и поступил. Поправ кирзой крылатое выражение «из песни слов не выкинешь», Герц вышвырнул строчку «десятый наш десантный батальон» и втиснул на вакантное место «второй мотострелковый».

— Сомненья прочь, уходит в ночь отдельный второй мотострелковый батальон! — заорала во всю ивановскую батарея вслед Герцу и только потом опомнилась.

Ни одна голова в маршировавшей коробке не повернулась к Герцу; под острыми и тупыми углами скосились только взгляды фейерверкеров в сторону экспериментатора из второй шеренги.

Несмотря на старания артиллеристов, все было кончено. Настроение комбата было испорчено очередным залетом «обоза». Фейерверкеры это увидели по расстроенному лицу Джалилова, когда Самусев, согнувшись, засеменял от командира по плацу. По идее куплеты должны были потеряться в громкости и качестве звука. Как бы не так! Артиллеристы продолжили драть глотки. В кровь драть. Это была завуалированная акция протеста. Началось глумление над сержантами, комбатом и собой. Курсанты травили несправедливость и травились сами.

Когда афганские куплеты сменились чеченскими, высокий голос Герца, набравшийся опыта от войны к войне, стал по-детски чистым и по-армейски крахмальным. Низкий голос Доржу отодвинулся на задний план, став пастельным фоном, бас-гитарой для гитары сольной.

Роты, заходившие на плац после артбатареи, песен не заводили. «Просто не могли, не смели!» — вскричал бы автор, если бы забыл о том обстоятельстве, что петь по утрам в принципе было необязательно.

Мы с Юрой Питерским терлись в то утро за углом батальона, прощупывая обстановку. Мы с Юрой черпаки, читатель. Относительная свобода.

— Теперь бы жить да жить, — сказал Юра. — Поют как, слышь?

— Не надо КамАЗ было угонять, — ответил я.

— Статус обязал.

— Сам не догоняю, как вчера подорвались. Уже ведь отбились вроде. Нет, адреналину захотелось. Можно было и с позавчерашним адреналином переночевать, не прокис бы.

— Заложники бренда, каторжане марки, рабы статуса.

— Не выражайся. Мало встревал, что ли?

— Прости, Лис.

— Да при чем тут «прости»?! Не выражайся — и все. Раз тут чаешься, говори на языке здешней правды.

— Птичьем.

— Правды.

— Быдла.

— Правды!.. Уважай их, они с тобой дерьмо хлебуют.

— Из уважения, как они?!

— Да, из уважения. Не переломишься.

— Да легко! Трудно с птичьего на человеческий, а в обратку — легко.

— Я про то же.

— Проехали.

— Проехали... Вот о чем думаю. Прикинь, Юрик, ты олигарх, и статус у тебя такой же.

— Че к чему?

— За бабки, говорю, умрешь? Вот — гибнущий миллиард, вот — ты, который может его спасти ценой собственной жизни. Умрешь?

— Делать мне не фиг.

— А я б тебя тогда зауважал.

Помолчали...

— Батя, думаешь, порвет? — через некоторое время спросил Юрик.

— Не, по звезде Героя даст... По бляхе и по центру шапки.

— Да, кулак у бати рабочий ... Если выживу — в Лас-Вегас после дембеля навинчу.

— С концами, что ли?

— Да не — в автоматы порезаться, кассу поднять. До армейки фартило.

— Ждут тебя там тыщу лет.

— По фигу вообще.

— Уехать хоть есть на че?

— Ну, нет, и че?

— Не тупи. До Лас-Вегаса еще как-то добратся надо.

— Доберусь, значит.

— Ну и как?

— С песнями.

— Че?

— Че слышал... Смотри, как артиллерия месит.

Запишу ее на диски, кое-что продам, а с остальным — в Штаты. Затарю Запад на первое время. Пусть послушает, под какие хиты мы клали головы, воюя сами с собой, за самих себя, за весь мир, за правду, если хочешь.

— Хочу.

— Че передергиваешь? — обиделся Юрик. — Наша правда местами была спорной. Напоминала стремление к господству, но господству идей, а не бабок. Наша справедливость бывала грязной, но трогательно-грязной. Чехослова-

кия, Венгрия, Куба, Вьетнам, Афган. Все плохое, что сделано не ради наживы, можно назвать трогательно-плохим. Так считаю.

— А Чечня?.. Отмывка денег, если че.

— Ниче — отмоемся. Отстриваем же ее всей страной, в ущерб другим регионам. В этом тоже чересчур много трепетно плохого и хорошего. Вот такие мы, че сделаешь?.. А водку и матрешку с Запада вывезу. Погостили — хватит. Контрабандой вывезу. Под флагом Камбоджи.

— А че контрабандой-то? — улыбнулся я.

А то... Это давно их мысли о нас, западный бренд... Решено. Матрешку — назад, залапали ее там, лоснится вся. А водку, пожалуй, оставлю. Не святые мы, пусть людей в нас видят. Люди роднее, чем святые.

— Слышь, Юрик, а ты вообще патриот?

— А это что: типа, показатель, здравый я пацан или чертомес?

— Ну да.

— Тогда — нет... Люблю манящие огни Запада, особенно рождественские, когда у них дома гирляндами украшены, как в «Один дома». Парижские кафе под музыку Эдит Пиаф люблю. Или Бундестаг. Его за одно только название ценю. Слово мужское, никакой слащавости. Пунктуальность, педантичность, самозабвенная верность долгу, настырная честность, нордический стоицизм. Подвалы ливерпульские люблю, которые «Битлы» осветили. Наш Цой ведь тоже с жаркого оранжево-черного подземелья начинал. Препклоняюсь перед творческими кочегарами. Ад с укрощенным пламенем, и музыка льется вопреки и во имя. Люблю, как европейцы уютно сидят в костелах, незатейливо и благодушно размышляют о Боге и не стыдятся этого, как люблю, как мы свечами стоим в храмах, сгораем от стыда и раскаяния и не кичимся этим. Да разве я перечислю, что я у них люблю?! Я люблю у них даже плохое, потому что их плохое часто отличается от нашего плохого, и это тоже интересно и ценно.

ГЛАВА 9

— Справа — по одному! — скомандовал Котляров перед входом в столовую. — Шевелись, обмороки!

Артиллерийская колонна стала осыпаться с разрешенного бока, как берег, подмытый рекой, и упорядоченно перетекать с улицы в столовую, как песок в часах.

В нос Герца ударил острый запах свежего хлеба, парных помоев и солдатского пота.

«Я, аристократ, не могу есть эту гадость», — надменно подумал он, но его резво размножавшиеся во рту слюнки свидетельствовали об обратном.

Каждый выживал в армии как умел. Одни спасались перепиской с родными и любимыми. Другие жили ожиданием второго года службы. Третьи стучали офицерам. Четвертые прислуживали дедам. Пятые отключали ум и сердце и ни на что не обращали внимания. Шестые промышляли легким или среднетяжелым членовредительством, чтобы попасть в госпиталь.

У Герца был свой способ. Он придумал себе, что является дворянином, которого разжаловали в солдаты за неудачную попытку государственного переворота на Сенатской площади. Мня себя декабристом, Александр и жил в соответствии с придуманной легендой, и все действительно безотчетно чувствовали, что он знаком с жизнью великосветского петербургского общества, но оставил свет ради народа. То есть, конечно, солдаты не только не могли чувствовать, что он из высшего света, но и вообще не имели ни малейшего понятия о том, что такое высший свет. Чтобы товарищи вникли в его положение, Герц должен был сначала рассказать им о том, что представляла собой жизнь дворянского сословия. Потом (это уже сложнее) — что эту жизнь можно оставить ради нечто большего. Затем (и это самое сложное) — растолковать, что нечто большее действительно достойно нечто большего, несмотря на то, что оно, случается, ворует у товарищей или ест из помоев.

В общем, никто не знал, что Герц из декабристов и вообще кто такие декабристы, но как бы знали. Условно. И что был обласкан царем — знали. И что из столиц. И что был в деле при Бородине. И что повернул вспять французов на батарее Раевского во время, безусловно, решающей четвертой атаки из тридцати двух случившихся в тот день, заорав по-французски: «Оставить позицию!.. В планах Светлейшего!.. Два кавалерийских корпуса!.. В двух верстах!.. Отведуют!» И что участвовал в заграничном походе, где нахватався всякой всячины от сифилиса до вольнодумства. И что вступил в «Северное общество», потому что в «Северном» не то что в «Южном», да и Сашка Пушкин просил. И что именно Сашка, потому что он (Герц) был с поэтом на короткой ноге, так как они на пару, надувшись шампанского, шлялись по деревенским бабам в его (Герца) частые наезды с медведями и цыганами в болдинскую ссылку. И что «Цыганы» собственно оттуда, а то напридумали! И что уберег Сашку от Сибири, подослав ему дрессированного зайца через до-

рогу. И что на Сенатской площади почти стрелял в Милорадовича. В итоге — рядовой сибирского полка.

Словом, олигархическое воображение Герца неплохо помогало ему переносить трудности.

В столовой возле артиллерийской вешалки остались два крупногабаритных курсанта: Балуев и Дашкевич. В их задачу входила охрана бушлатов и похудение. Рядовые заняли позиции на противоположных концах вешалки. Они сняли ремни, ослабили их, придав им таким образом максимальную длину, и плотно опоясали вешалку. Слово небольшая аллея елочек была взята в круг! Ну хорошо — в овал, чтобы быть точным не художественно, а документально. Хоровод, составленный по принципу «человек-ремень-человек-ремень», выглядел глупо, но надежно. Одушевленные и неодушевленные предметы, взявшись за руки-бляхи-мухи, объединились в борьбе с воровством. Бушлатов не хватало, и подразделения постоянно крали их друг у друга. Из-под носа. Весело. Дерзко. С азартом. Как цыгане воруют лошадей. Переходящими кубками были бушлаты!

— Бигус дают, — тоскливо произнес Балуев.

— Договорились же о хавке¹ не базарить, — упрекнул товарища Дашкевич.

— Я и не базарю. Так, просто.

— Лучше просто за махрой паси.

— Я и пасу.

— Вот и давай.

— Как думаешь, сменят? — через некоторое время спросил Балуев. — Хоть чаю хлебнуть.

— Опять ты о еде?!

— О воде.

— Все равно.

— Все равно-о-о, — передразнил Балуев. — Ты нехватан просто.

— Сам нехватан.

— Пельмени, курочка, котлеты — схавал?

— Не бушлаты — я б из тебя сам котлету сделал.

— До фига вас тут таких: по зиме — оравших, по весне из-под снега оттаивших.

Позлились друг на друга с минуту.

— Ладно, проехали, — примирительно сказал Дашкевич. — Мы с тобой тоже особо не торопились, когда тут Калина с Кубыхой стояли.

— Вообще никак... Я в их сторону даже не смотрел. Мне казалось, что они все равно когда-то хавают. Фиг знает, ну передвигались же как-то, в обморок не грохались.

¹ Еда (сленг).

— Балуй, они тогда две недели почти не жрали, а мне их только сейчас жалко стало. Сейчас бы я их сменил. — Голос Дашкевича стал жестким и хриплым. — И пусть меня тоже никто не меняет. Пошлю подальше — отвечаю!

— Да ладно — не заморачивайся. От Калины с Кубыхой не ubyло. Ну, ubyло, конечно, но все нормально же.

— А я и не заморачиваюсь. Худею. Жиром зарос, на гражданке хряком звали. Мне теперь вообще все по фигу. Четвертые сутки не жру. Ничего не страшно теперь. Я судьбу в баранку теперь согну. И совестью буду управлять как хочу. Захо-чу — буду других менять, не захочу — все равно сменю. Назло.

— Себе, что ли?

— Тебе, блин!

— А без разницы уже. Менять-то некого. Все пацаны в форму пришли, одни мы остались.

Дикий хохот двоих...

— У фееров крыша от нехватки поехала, — сказал бушлатный охранник автомобилей своему напарнику. — Мы на очереди.

По железным рельсам раздаточного стола ползли синие пластмассовые подносы-трамваи, загружаясь на остановках бигусом, хлебом, чаем. Волоокая молодуха, Женя Витейкина, покрикивала на бойцов, создававших пробки. Она была поварихой из вольнонаемных. Как женщина Женя Витейкина волновала только сытых сержантов. Для вечно голодных курсантов она была богом с женскими половыми признаками, распределявшим поварешкой небесную манну в соответствии со своим настроением в настоящую секунду.

По три раза на дню ходили курсанты на приступ кокетливой твердыни по фамилии Витейкина.

Земная рать перепробовала тьму-тьмущую улыбок в поисках той, которая бы обезжирила сердце дамы и заставила бы ее нагрузить тарелку чуть больше или хотя бы не меньше положенного.

И как ее только не называли! И Евгенией, и Женей, и Женечкой, и Женькой, пару раз даже Евгеном.

И как только не смотрели на нее! И как на любимую, и как на мать, и как на сестру, и как на икону, и как на шлюху, — все бесполезно.

Бывало, что удача скалилась некоторым курсантам, но эти оскалы, как правило, не одаривали одного человека дважды. Витейкина с удовольствием купалась в мужском внимании, но дальше буйков не заплывала.

— ПТУР почти прошел, — сказал Павлушкин стоявшему справа Куулару и добавил с недовольством: — Вечно мы вторые.

— Сержикам иди говори, — смерив Павлушкина презрительным взглядом, ответил тувинец.

— Надо будет — скажу! — огрызнулся Павлушкин и пошел искать правду слева. — Герц, чем ПТУР лучше нас?

— Ничем, — ответил Герц.

— Вот и я говорю, — сказал и забыл Павлушкин, как будто только и хотел, что занести очередную несправедливость в реестр и переключиться на что-нибудь другое, более интересное и пакостное. — Герц, подкати к поварихе, она тебе даст.

— С чего ты взял?

— Нюх у меня.

— Нюх у него.

— В натуре, говорю. Как кошка на тебя смотрит.

— Чего?

— В охоте, говорю, она. Ублажишь — может, подобреет.

— Ты совсем уже.

— А она не совсем? Мы с голоду пухнем, а она с чайную ложку в шлемки¹ наеживает. Дождется, что ее бригада по кругу пустит.

— Высказался?

— Не-а... Как думаешь, она чистая?

— Ну и лупень, — покачал головой Герц.

— За тебя переживаю, дура.

— Павлуха, она же девушка как-никак.

— Правильный, что ли? — Взгляд Павлушкина помутнел. — Глянь на Калину, он как раз по раздаче топает. Умоляет ее взглядом, гондон. Нет, ты смотри, как кланчит. Вот падла-то, совсем гордости нет! Думает, она расщедрится. А она сквозь него смотрит. Не, а как еще, если он просвечивает от нехватки? Она в нем мужика не видит, он в ней — бабу. Дожились, блин... Я ей бигус по роже размажу. И Калине. Обоим. Жалко только, что порция у меня одна. Свою не займешь?

— Все — не ерзай... Тема одна есть. Сейчас пробить попробую.

Курсанты артвзвода шли по раздаче молча, с набитыми слюнями ртом не очень-то поговоришь. На замешкавшихся впереди артиллеристов глухо урчали животы двигавшихся позади.

У Фаненштиля от жадности голода затряслись руки, когда подошла его очередь брать чай. Он попытался совладать с собой. Мучительное напряжение воли отразилось на его лице, но руки продолжали ходить ходуном.

¹Тарелка (тюремный сленг).

«Прольет», — подумал шедший позади Герц, и за этим словом не стояло ни сочувствия, ни мстительного торжества за утреннюю стычку, а только констатация.

— Пролью, — клонировал бесстрастную мысль Герца преданный собственными руками Фаненштиль.

Шторм светло-коричневого моря. Холодные наносахарные брызги...

— Возьми мой, — сказал Герц.

— Подмазываешься¹ или как? — спросил Фаненштиль.

— Или как.

— В таком случае — спасибо, но все равно — отдыхай.

— Странный ты типок, Фаня.

— Кто бы говорил.

Женя Витейкина накладывала бигус и не замечала Герца, который стоял напротив нее. Когда она стала передавать ему порцию, то краем глаза увидела, что он что-то пишет на листке бумаги.

— Что у тебя за листок? — заинтересовалась Витейкина.

— Ваше увольнение.

— А ну повтори.

— Это коллективная жалоба на вас, составленная по всей форме. В шапке жалобы — имя и фамилия комбрига. То есть в папаше, конечно; он же у нас полковник. В общем, будете недодавать — все начнут подписываться под моими словами. Я уже подписался. — Герц кивнул назад. — За мной — рядовой Павлушкин, его уж не обижайте, не советую.

Витейкина растерянно улыбнулась. Нет, она не испугалась угрозы, потому что давно работала среди солдат и поднаторела в способах, которыми их можно было урезонить. Ей впервые за долгое время работы в армейской столовой сделалось по-настоящему больно и обидно. Надо же было такому случиться, что парень, который так понравился ей, начал не с комплиментов, а с нападок. Он проходил мимо нее три раза в день в течение нескольких месяцев, но она заметила его только сегодня. Больше всего ее поразил чистый взгляд Александра, какие бывают у тех парней, которые еще не познали женщину или познали ее один раз, но от волнения, скорости и липко-сладостной мерзости несвоевременного соприкосновения с тайной природы не поняли или стирали из памяти то, что с ними произошло.

Герц относился ко второму типу. Пилотный половой акт на первом курсе университета с жадной до плотских утех старшекурсницей нанес сокрушительный удар по психике Александра, опустошил и извлял в нечистотах его человеческое естество. С той ночи секс в сознании Герца был неразрывно связан с пьянкой в знаменитой комнате № 206 студенческой общаги. С некрашеным и затоптанным полом. Со стенами, с которых струпьями свисали дешевые серые обои в ромбик. С черно-желтыми подтеками на потолке. С облеваным разноцветным ковриком на входе. С жирными пятнами на занавесках. Со старым обшарпанным холодильником «Бирюса». Со столом, заваленным грязными тарелками и кружками, на дне и краях которых мумифицировалась пищевая грязь. С запачканными помадой окурками в консервных банках. С едким запахом пота, перегара и табачного дыма в воздухе. С ненасытными поцелуями и объятиями сплетенных в змеинные клубки тел в полумраке.

После той ночи целомудрие получило в лице Герца союзника с фанатическими перегибами, человека, не знающего середины, инквизитора половой жизни. После собственного падения ему стал ненавистен любой секс. С любимыми и нелюбимыми. В браке и без брака. Это было уникальное явление в ту наэлектризованную эротизмом эпоху, в которую он жил. Для того чтобы сильно и качественно влиять на студенческое окружение, Александр путем изучения соответствующей литературы и каждодневных размышлений детально исследовал и проанализировал проблематику современного полового вопроса. Герц привлек на свою сторону религию, мораль, нравственность, привлек все, что только можно было привлечь, чтобы отвратить друзей и товарищей от самого страшного, как ему казалось, греха. Если бы понадобилось, он, не задумываясь, привлек бы и самого дьявола, который является врагом занятий любовью в том плане, что пока только так и никак иначе продолжается ненавистный сатане человеческий род. Никто не смеялся над воззрениями Герца в университете. Ни один человек. Потому что он был убедительно страшен и страшно убедителен, когда начинал говорить о физической близости между мужчиной и женщиной и вообще о взаимоотношениях полов.

Его студенческие проповеди магнетизировали слушателей. Раскрепощенная и терпимая постсоветская молодежь с живым интересом внимала Герцу. Она не отторгла его, но и не заразилась его идеологией; по крайней мере — поголовно.

¹Подлизываться (сленг).

Она приняла его просто как представителя новой субкультуры. И в этом было много мудрости поколения next.

— Саша, я вполне согласна с тем, что в эру оргазма твой ортодоксальный пуританизм скорее полезен, чем вреден, — однажды сказала Герцу его однокурсница Лена Полежаева. — Но опять же, согласишься, что детям надо как-то рождаться. Причем — естественным, то есть природным путем, который, по-моему, является самым правильным. Тебе не удастся сделать большинство ребят своими адептами. И это хорошо. Но ты можешь успешно подвести многих к золотой середине в плане интима. Может быть, только ты один и можешь со своей одержимостью. И это тоже хорошо. Например, я буду очень рада, если после твоих высказываний люди будут заниматься «этим» не вульгарно и походя, а красиво и в браке. Для рождения детей. Для здоровья. И для радости физического общения, ведь пока что человек — это дух и плоть, а не только плоть или только дух. Ты можешь восстановить сбитое дыхание сексуальной энергии, которая сейчас в мыле, пене и грязи, как истощенная и загнанная лошадь. Для всех ты не новость на самом деле. Все устали, всем опротивело такое «это» задолго до твоего прихода, поэтому ты человек, которого подсознательно ждали. Не удивляйся. Да, ждали. Только ждали не для того, чтобы ты заколол лошадь. Чтобы напоил ее колодезной водой — ждали. Накрыл попоной. Дал ей отдохнуть и подкормил ее, чтобы она налилась силой. Да, подкормил, что так смотришь? Ну и щеткой, конечно, по ней прошелся, где налипла грязь. И ждали тебя именно такого, рьяного, что ли, эдакого энтузиаста, чтобы стыдное, которое считалось нестыдным, стало стыдным. А нестыдное, которое почитали за стыдное, опять стало нестыдным.

Несмотря на свое неприятие секса, Герц не был женоненавистником. Он любил женщин, боготворил в них те яркие и едва уловимые черты, совокупность которых называется женственностью. Герц вообще считал, что по-настоящему красивой может быть только женщина. Он всегда говорил: «Я могу оторваться от всего: от красивого пейзажа, от интересной книги, от всего, но от некоторых девушек я не могу, не умею и не хочу учиться отводить взгляд, потому что наперед уверен, что наших девчонок ничто заменить не может».

Как он любил романтические фильмы, где мужчины галантно ухаживали за женщинами! Как боготворил поцелуи влюбленных пар!

А от постельных сцен его трясло. Как?! Как можно, негодовал он, тыкать в женщину этим уродливым фасольным стручком, с помощью которого испражняются?! Эти глупые, пошлые и однообразные движения! Туда-сюда, туда-сюда! О господи! Как Она позволяет?! Как Ей может нравиться это?! Она! Она, которой можно любоваться только на расстоянии! Которая даже работать не должна! Но работает! И хочет работать! Как Она смеет хотеть работать! И даже в политику идет, в эту мерзкую область, в которой место только нам! Нам!

В армии Герц не забыл о своих убеждениях, но до подходящих случаев не распространялся о них. Он вообще о многом помалкивал и вел скрытную борьбу, как Штирлиц в гестапо. Он ел как все. Спал как все. Ходил строем как все. Как и все, соблюдал армейские законы, позволяя себе вносить поправки к ним или изменять их только в случае гарантированного успеха или неполного провала. Были у него и свои странности, как у всех. Разговаривал он почти как все — на уличном языке с небольшим интеллигентским акцентом. Словом, Герц был или своим среди чужих, или чужим среди своих, или еще кем-нибудь. Сразу и не разобраться, читатель.

В главную задачу Герца — он сам так решил — не входила вербовка агентов. Такая игра представлялась ему мелкой. Сбор информации с ее последующей передачей в «Центр» — вот для чего, как ему казалось, он был призван в армию.

Вот только Женю Витейкину совсем не интересовало, с какой целью Герц пошел в солдаты. Девушка была вне себя от нанесенного ей оскорбления. Разочарованная, она ничего не стала объяснять обидчику. Женя в подробностях помнила, как полтора года назад, наверное, вот такой же подонки в военной форме воспринял ее материнскую улыбку и желание угодить как приглашение в постель и стал ее лапать.

«Все вы, мужики, сволочи», — стандартно подумала Витейкина и крикнула через голову обидчика:

— Руся! Ахминеев!.. Тебе, тебе, да!.. Это твой курсант?!

— Этот, что ли? — подойдя к раздаче и ткнув пальцем в Герца, спросил Ахминеев.

— Он самый.

— Ну, мой. Че дальше?

— Руся, он «красный».

Кровь прилила к лицу Александра...

— Вижу, что не зеленый, — посмотрев на Герца, сказал Ахминеев. — Ну, пылает децл, с кем

не бывает? — Он усмехнулся. — Запал, наверное, на тебя.

— Руся, я не о том. — Слезы покатались из глаз Витейкиной, она стала всхлипывать. — Он, он, он стукануть на меня хочет... Ком-ком-комбригу. Хо-хо-хочет сдать. Ме-ме-меня.

— Быть такого не может! — Ахминеев метнул штормовой взгляд на Герца и стал успокаивать девушку: — Женя, успокойся. Не плачь, все. Разберемся. Ну, все, все, успокойся. Не стоит. Говорю — разберемся. Вообще-то у нас нет «красных» в батарее. Тем более — Герц.

Витейкина протянула листик с жалобой Ахминееву. Сержант пробежался глазами по бумажке, передал ее Герцу, посмотрел по сторонам и шепнул кляузнику:

- Ешь.
- Есть?
- Есть.

— Есть!

Не успела Витейкина опомниться, как Герц запихал жалобу в рот и непринужденно, весело, с аппетитом стал жевать ее, как будто бумага всю жизнь входила в его рацион. Безусловно, поедание листика при всех било по самолюбию Александра. Павлушкин очень удивился тому, что его гордый друг, так озабоченный сохранением собственного достоинства, умудрился как-то догадаться, что если уж бумага попала в рот, то есть ее надо непринужденно, весело, с аппетитом, в общем, с юмором по отношению к собственной персоне — так не уронишь себя в глазах других. И действительно, солдаты, стоявшие рядом с Герцем, начали улыбаться, но не издевательски, а с пониманием; мол, пострадай, дружище, раз уж так вышло. Александр чувствовал жгучий стыд перед девушкой. Естественно, он не собирался ее сдавать, но как-то уж так нечаянно получилось,



что собирался. «За это, — думал он, — я должен еще и не так заплатить».

— Ну вот, я же говорил, у нас ни одного «красного» в батарее, — с гордостью констатировал Ахминеев, когда донос был съеден.

— Спасибо Сталину, — шутливо подмигнул девушке Герц.

— Тьфу на вас, — растерянно улыбнувшись, сказала Женя. — Дураки.

Артиллеристы расселись за столы и стали ждать вежливого приказа к началу трапезы. От близости еды завелись даже те курсантские животы, которые до этого были в заглушенном состоянии. Глаза духов разбегались от обилия яств. Тут и хлеб. Тут и масло. Тут и бигус. Тут и чай. А в центре столов эксклюзив: соль в солонках и перец в перечницах под цвет икры — хошь красный, хошь черный. Словом, большой ассортимент блюд. Вероятно, поэтому всего помаленьку, чтобы солдаты все попробовали, все оценили, а не наелись, например, одной солью.

— Приятного аппетита! — прозвучала команда Котлярова к началу приема пищи.

— Взаимно! — громогласно выдали курсанты и стремглав понесли от голода к сытости.

И тут чудеса, да и только. Вот вроде всегда дочиста вылизут духи тарелки, до доньшка выпьют чай, а сытость как горизонт для путника все там же: не ближе и не дальше. И все равно безостановочно неслись курсанты вперед и вперед, надеясь на то, что утроба как-нибудь обманется. Врала желудкам немилосердно. В них закидывали плохо пережеванную пищу, быстро нагромождая куски один на другой, чтобы тем самым создать объем в животах и застопорить маховики переваривания.

Команда Кузельцова «Закончить прием пищи!» прозвучала как эхо команды «Приятного аппетита!».

Несмотря на то, что комбат не дал Саркисяну увольнительную в город, духи продолжали надеяться на то, что космического завтрака не будет. Эта надежда на чудо была хрупче тростинки, поэтому ее пронесли в себе очень бережно до самого конца. Ни один курсант, зайдя в столовую, не обмолвился ни словом на тему продолжительности завтрака ни товарищу, ни даже самому себе, как будто никакого договора и в помине не было... Но он был.

Ропот пронесся по столам после приказа Кузельцова. Курсанты перестали есть, но со своих мест не поднимались. Играя желваками, духи смотрели перед собой, помня о договоре, не желая помнить о договоре.

— Батарей, закончить прием пищи! — хоть и настойчиво, но без раздражения повторил Кузельцов.

Курсанты продолжали сидеть. Их лица были угрюмы и злы, но без вызова в глазах.

— Календарев, взял мой поднос и унес! — поднявшись, приказал Кузельцов и оглядел батарею. — Никто не виноват, что Саркисян обломался, но тот, кто не сдаст посуду, не доживет до дембеля!.. Встать!

Курсанты поднялись с разбродом в головах от несправедливой справедливости, которую с ними учинили, и подались к мойке с потерянными лицами. Духи никак не могли взять в толк, честно или бесчестно обошлись с ними, правильно или неправильно поступили они сами. Батарей была выбита из колеи.

Павлушкин занял очередь в мойку. Его взгляд блуждал по столовой в поисках справедливости. Вид у него был довольно жалкий. Справедливости он, естественно, не обнаружил, потому что в армейских столовых она не водится. И Павлушкин расписовался.

— Че вы все такие, Левченко?! — обрушился он на стоявшего впереди курсанта из второго отделения ПТУР-взвода.

— Какие? — обернувшись, спросил Левченко.

— Такие!

— Если ты об оче...

— Хотя бы! — нервно перебил Павлушкин, не смотря на то, что спрашивал не об очереди, а о чем-то неизвестном даже ему самому. — Пока-а-а проползете. Медленные, капец!

— Мы-то при чем? Там наряд не успевает.

— А меня волнует?! Не пожрали — теперь еще и ждать должны.

— Кто просит — не жди.

Павлушкин вышел из очереди. Он окинул взглядом столовую в надежде найти пустой стол, на котором можно было бы незаметно оставить поднос. На несчастье курсанта, столы не успевали освободиться, как их занимали новые подразделения.

«Вот невезуха-то, — думал Павлушкин. — Если уж не везет, то не везет до талого. Вот, блин, мир устроен. Господи, помоги, что ли. Не нужны мне миллионы, дай мне десять секунд, чтобы эти уже вышли из-за стола, а те еще не сели. Дай окошко, я махом в него влезу. Ты знаешь, я пронирыливый. Обещаю больше не материться. Ну, в смысле попусту. И курить брошу, но это не забывай, а то запомнишь еще, а я тебя подведу. Курить знаешь как бросать?! В твоё время, наверное, еще не курили. Тяжело, короче. Ты прости, что

я к тебе на "ты" обращаюсь. Может, и на "вы" надо, вон сколько ты за нас пострадал. Неуважительно как-то на "ты". В церкви тоже тебя на "ты" называют. Ты прости батюшек. Они просто могут не знать, как надо. Ты же им не говорил, как. Может, и говорил, да я не в курсе. Может, и правильно называют. Церковь-то давно у нас. Считай, с твоих времен. Я тебя на "ты" называю, потому что ты мне родной, вот почему. Я же мамку на "вы" не называю, так ведь? И люблю я тебя, наверное, так же, как мамку. Своеобразно. Иногда я прямо ее ненавижу. Как начнет морали читать, так убить охота. Но ведь случись с ней что, я же не перенесу. Золотая она у меня. Ты свои морали уже давно отчитал. Две тысячи лет назад, если мне память не изменяет. Врать не буду, я, может быть, тоже тебя в то время не слушал бы. Морали, они меня раздражают. Я прямо бешусь. Но когда бы тебя к кресту стали прибывать, я бы в сторонке не стоял. Я бы им показал, Господи. И пусть бы меня вместе с тобой распяли. Ты же в моралих зла не желал. Ты же добра самого чистого для всех хотел, как мамка мне. Гаубицу бы еще туда, к кресту, хотя я знаю, что ты против всего этого. Я и сейчас на тебя иногда злюсь, потому что много зла по кругу, а ты допускаешь, чтобы всякая мразь землю поганила. А потом как подумаю, что это же мы, мы сами зло творим, и понимаю, что пенять-то не на кого. Ну, не творили бы — и не было бы зла. Я к тебе редко обращаюсь. Как прижмет, в основном. Говорят, что надо постоянно. Правильно говорят. Плохо тебе — обращайся за помощью, хорошо — благодари, а то привыкли! Но ты не расстраивайся. В основном плохо всем, так что тебя не забудут. Я же к тебе потому редко обращаюсь, чтобы тебя не отвлекать. У тебя других дел по горло. Вон хоть Семенова взять, ему вообще тошно здесь. Но ты на него все равно не отвлекайся, он — мой. Ты только вызывай во мне жалость к нему почаще, а я уж наворочу делов. Иногда ведь не жалко его. Звания до сих пор выучить не может. Уже бы корова, я не знаю, выучила, а он — никак. Мозгов ему, что ли, подкинь. Если нет лишних мозгов у тебя в запасе, то от Герца часть отколупни, а Семенову передай. У Герца мозгов до черта, от него не убудет. В общем, я к тебе не обращаюсь, потому что и так не надо. Знаю, что накасячу — накажешь, поступлю хорошо — сигарет подкинешь. С сигаретами пример плохой, конечно, но курить так хочется, ты бы знал только! Ладно, пусть будут конфеты, они нейтральные. В общем, я хоть и редко молюсь, а помню

о тебе. Ты должен знать. Слово пацана... Вот я и соврал. Никогда я о тебе почти не помню. Даже не знаю, что и сказать теперь. А сможешь мне сейчас — опять тебя забуду. Такой я, знаю себя. Поэтому не помогай мне, хоть и прошу самую малость. Да и что прошу-то? Гадость какую-то. Лень в очереди стоять — вот и прошу».

Павлушкин еще раз обозрел столовую и встретился взглядом с тщедушным сгорбленным пехотинцем в замызганной форме не по размеру, который сидел за третьим столиком первого ряда. Илья посмотрел на тарелку курсанта махры.

— Вылизал — мыть не надо, — сделал оценку эксперт. — То-то у нас хряки на свинарнике волосатые, как бизоны. Порода, шепчут, такая: волосатая и горбатая. Типа, за неимением сала шерстью спасаются. Специально скрещивали, базарят. Ну, если только голод с холодом.

Павлушкин снова посмотрел на пехотинца и... ужаснулся. Враг истекал слюной, как сенбернар и, чавкая, пожирал взглядом тарелку товарища напротив. В лице пехотинца не было ничего человеческого. Павлушкин увидел трусливого и обезволенного пса, который не набрасывался на тарелку товарища единственно потому, что у животных инстинкт самосохранения до поры до времени сильнее голода. Омерзительной смесью звериной тоски, бессильной злобы и готовности к унижению и заискиванию блестели глаза доведенного до отчаяния пехотинца.

Павлушкина затошнило от отвращения. В его душе брезгливость в извращенной форме начала насиловать сострадание. Павлушкина хватил духовный удар. Его левую половину лица парализовало, и она сделалась отталкивающе мертвой. Светлая улыбка блаженного, появившаяся на правой половине, только еще больше обезобразила лицо курсанта. Лик вытеснила рожа. Павлушкин стал страшен.

Пошатываясь, добрел Илья до стола пехотинцев и принял позу копьemetателя перед броском. На подносе в отведенной за спину правой руке задребезжала посуда.

Все сидевшие за столом пехотинцы за исключением того самого засекли изготовившегося к атаке артиллериста. Парни сидели к Павлушкину в профиль. Они перестали жевать и замерли в тех позах, в которых их застала угроза; только их глаза, как автомобильные дворники, плавно переместились в сторону врага — в фас. На лицах пехоты — ни страха, ни ненависти. На лицах — галимый фатализм; мол, ждем, первый удар за тобой, но потом держись.

Злой хрип Павлушкина:

— Ха-а-а! — Поднос бережно поставлен перед обезумевшим от голода пехотинцем. — Ешь, ссс... сссолдат!

От нравственных перегрузок, которые вполне закономерны для здоровой в стержне души, если она нечетко или ложно понимает, что есть добро и зло, Павлушкина замутило так, как никогда еще не мутило. В глазах Ильи потемнело. Его уши заложило. Внутренности Павлушкина то подступали к горлу, то опускались в район таза. Сам того не понимая, курсант осуществил заветную мечту. Он с детства мечтал полетать на самолете, и за хороший поступок судьба наградила его целой палитрой ощущений, которые получает человек при посадке воздушного судна.

Павлушкин закрыл и так уже не видевшие глаза, сдавил ладонями и без того заложённые уши. Его сознание начало постепенно гаснуть, как включенные фары заглушенной иномарки.

Когда он открыл глаза, прямо перед ним, на столе, плодились подносы с едой, как евангельские хлебы и рыбы. Павлушкин встряхнул чумной головой, чтобы отогнать чудо. Но не тут-то было. Пищевая популяция продолжала нахально расти, угрожая в скором времени из библейского «накормить» перерасти в советское «накормить и перекормить».

«Так я вам взял и поверил», — подумал Павлушкин.

Для проверки достоверности чуда Павлушкин не только потрогал один из подносов, как когда-то Фома неверующий потрогал воскресшего Спасителя, но и ущипнул за мягкое место себя, на что апостолу ума не достало. Теперь в ответственности и независимости проверки не усомнился бы никто. Во-первых, она была двойной, как удар Жан-Клода Ван Дамма. Во-вторых, в ней участвовала независимая даже от бодибилдеров мышца. Словом, чудеса, как и предполагал Павлушкин, стали быстро исчезать... в желудках махры.

— Я так и знал, — радостно подумал Павлушкин, и тут уши курсанта разложило.

Вокруг шла веселая и грубоватая мужицкая перебранка:

— Не для вас — Павлушкин косяк на всех делим!

— **Никто и не сомневался в вашей сердобольности!**

— Заворота кишок вам!

— **Медленной голодной смерти!**

— Назло нашим сержикам кормим!

— **А мы назло своим едим!**

— Откармливаем вас на убой!

— **Смотрите — не подавитесь!**

— Ваши телки нас после армейки ждут!

— **А ваши нам еще до армейки отдались!**

— Теперь отоваримся у сержиков!

— **Типа, нас по головкам поглядят!**

ГЛАВА 10

— Кто первым отдал завтрак махре? — пытал батарею дежурный Ахминеев.

В казарме были только курсанты и один сержант. Офицеры ушли на утреннее совещание к комбату. Другие сержанты рассыпались по бригаде по своим делам.

Курсанты отжимались уже двадцать минут. Они хранили партизанское молчание и терпеливо ждали, когда Павлушкин сам выдаст себя, потому что он относился к уважаемой касте «мужиков». Курсанту из разряда «опущенных», окажись он виноватым, не дали бы и минуты. После первых же отжиманий безжалостная к «опущенным» батарея принялась бы отводить душу в шипении и рычании в сторону отверженного, пока бы он не обезумел от свирепых звуков джунглей и не предпочел бы кулаки сержанта ненависти товарищей. После активной прокачки духам стало все равно, хорошо поступил Павлушкин или плохо. Раз начались разборки — он должен сознаться.

«Даже не подумаю! — зло веселился Павлушкин про себя. — Качайтесь давайте, бабы вас сильными ждут. И не халтурьте, а то уже коленки у каждого первого на полу. Вас никто не просил ввязываться. А если я завтра из окна прыгну — вы тоже за мной? Знали, на что идете. Я сваял дурака, но это мое дело. Теперь вот прокачиваюсь и не стону. И махра не стонет, ей сейчас тоже не медали вручают. Наверху ни одного крика, если че. Просто грохот. Бильярд — башками, а вы тут мышцы нарастить не хотите. Качайтесь давайте, а то напомню, что «махровые» сержики вместо киев используют. Мы махру подставили, между прочим. Сидели себе пацаны, горя не знали, а мы их давай подкармливать. Крошками, как воробьев зимой. Ключите. Им бы подносами в нас запустить, но они не стали. Может, добро оценили. Может, голод хлеще желания хавкой нам припечатать. Неважно. Важен результат. Не стали — и все. А ты, батарея хренова, давай прокачивайся. Не умеешь скрытно работать — упор лежать принять. Как воруете, так и помогайте. Скрытно. Правила одни».

— Пусть это буду я, — поднявшись, произнес Герц и вышел вперед на три шага.



Батарея продолжала лежать. Павлушкин, размышлявший о своем, не сразу вник в смысл прозвучавшей фразы. Он продолжал отжиматься по инерции и переваривал каждое слово отдельно, как кадр из диафильма. Пусть. Отжимание. Это. Отжимание. Буду. Отжимание. Я. Отжимание. На лице Павлушкина отразилось недоумение, когда до него наконец дошло, что произошло. Он поднялся и стал отряхивать ладони. Вскоре отряхивание переросло в аплодисменты.

— Bravo! — с издевательством воскликнул Павлушкин. — Точно ты?

— Да, — не оборачиваясь, бросил через плечо Герц.

— Устал качаться или герой?

— Первое.

— А я думал, ты герой. А ты просто устал, как девка. Повернись к строю лицом, не надо к нам задом стоять! — Духи стали потихоньку подниматься. — Всем лежать! — крикнул Павлушкин. — Лежать, я сказал, бомба в казарме! Герц, ты че, офонарел совсем? Ты нам, типа, одолжение, что ли, делаешь? Пусть это буду я-а-а. Как это «пусть буду»? Че ты мямлишь? — Павлушкин быстро подошел к Герцу и, сложив ладони лодочкой, заорал ему в ухо: — Сука, это я! Я! Я! Я, товарищ сержант! Достал нож — режь, а не мямли!

Герц не шелохнулся. Курсанты приникли к земле. Сержант присвистнул, по-наполеоновски скрестил руки и преспокойно заметил:

— На очки. Оба.

— Разрешите обратиться, товарищ сержант, — из упора лежа вмешался Фаненштиль.

— Попробуй, — разрешил Ахминеев.

— Не надо их на очки. Вы их лучше на кассу поставьте. Пусть бабки вам подгонят за свой косяк. Вы же знаете, Павлуха с Герцем — здоровые пацаны, сержант Кузельцов не одобрит. И вообще они не подгоняли завтрак махре первыми. Если только — до кучи. Так тогда все виноваты, если до кучи. Там разве разберешь, кто первым был? И очки они все равно мыть не будут, потусуются в сортире — и все.

— Шаришь, Фаня, — одобрил Ахминеев. — Герц! Павлушкин! От вас — пятихатка¹ через три дня и три ночи. Итого: шесть светлых и темных суток. Приемлемый срок. Уложитесь.

«И не разобрать-то с маху, красавчик ты, Фаня, или урод», — в унисон подумали Герц и Павлушкин.

Начались занятия. Курсанты расселись за партами в комнате досуга. Ахминеев ушел спать в

¹ Пятьсот рублей (сленг).

бытовку. В казарму вернулся младший сержант Лысов. Он прошел в комнату досуга, развалился на стуле и стал номинально вести предмет «общественно-государственная подготовка», прощае говоря — присматривать за духами, чтобы они вели себя тихо и не спали.

Офицеры, в обязанности которых входило преподавание специальных дисциплин, разошлись по домам, оставив дежурному по батарее наказ: «Кто появится, мы отошли на десять минут. И сразу дневального за нами». Сержанты рассредоточились по бригаде, предварительно предупредив Лысова, где их следует искать в случае форс-мажора.

Герц тяжело переносил шестичасовое безделье. Во время занятий духам запрещалось выходить курить, отпрашиваться в туалет, разговаривать, вертеться по сторонам, облокачиваться на парту корпусом, читать, рисовать и даже глубоко погружаться в свои мысли. В любой момент сержант мог назвать фамилию курсанта, и последний должен был выкриком «Я!» обозначиться в пространстве. Сравнительно легко переносился первый час безделья; в это время курсанты приходили в себя от утренних испытаний и треволнений. Но потом начиналась дыбоподобная пытка — оступелая борьба с накачивавшим волнами сном. Натруженные от хронического недосыпания глаза превращались в мышеловки, которые то и дело захлопывались, подставляя курсантов под сержантский удар. Воля духов по-бурлацки надрывалась в попытке перетащить раскисшее от обездвиженности тело еще хоть на одну бессонную секунду вперед. Минуты, напоенные физическим и умственным бездействием до невменяемого состояния, не шли, а зигзагами плелись к обеду. Теория относительности начинала подтверждаться на практике. Голод из мучителя мог стать союзником. И тут, как говорится, пеняй на себя сам; если ты вдруг как-то умудрился насытиться за завтраком, то открытия второго фронта не жди, сражайся со сном в одиночку.

— Прочь, — отгонял Герц Оле Лукойе. — Самка... Семга... Сам-сем... Грыжа... Без понятия... Виардо... Вили Пух... Сам ты там... Полоскун... Супоросный купорос... Баттерфляй... Трасса E-95... Кулема... Мама... Ма...

— Сашо-о-ок, Сашенька-а-а, — ласково проговорил Лысов, поглаживая Герца по голове.

— У-у-у, — промычал Герц, причмокивая губами, как ребенок.

— Где ключи от танка?

— У-у-у.

— Санек, ну скажи.

— Та-ма.

— Тама нету, я смотрел.

— Та-ма, там.

— Сашок, уснуть на ОГП — это косяк.

— Строевая.

— Сегодня нет строевой.

— Зисм.

— Подъем!!!

Герц вскочил на ноги. Спросонья его повело в сторону, и он завалился на сидевшего рядом Павлушкина. Перед классной доской, на которой висела карта СССР, в ожидании своей участи стояли еще пять сонь, разбуженных минутой-двумя-тремя раньше Герца.

— Не высыпаемся, да? — спросил Лысов у Герца.

Вопрос относился к разряду риторических. Вероятно, по этой причине Герц не ответил. Действительно, что тут скажешь?

— Спать полюбил? — не отставал Лысов.

Вопрос относился к категории глупых. Видимо, поэтому Герц опять не нашелся что ответить, однако не забыл с раскаянием вздохнуть, чтобы не раздражать сержанта вторым по счету молчанием.

— Кому спим, говорю? — никак не унимался Лысов.

Вопрос относился к разряду непонятных, но игнорировать сержанта уже было опасно для здоровья.

— Задремал маленько, — ни к селу ни к городу ответил Герц.

— С тебя к вечеру блок «Кента», обезьяна.

— Свободной кассы пока нет, товарищ сержант, — сказал Герц.

— Твои проблемы. Рожай. Белую простынку со шконки¹ возьми, Павлуха воду нагреет. Поможешь ведь, Павлуха?

— Дело нехитрое, — ответило олицетворение хитрости. — Только сегодня с Герцем в наряд заступаем, сержанту Кузельцову надо будет ужин соображать. Врать не буду — касса есть, но она уже не наша. Сами понимаете.

— Займите у кого-нибудь, вы же шарите.

«Сам напросился», — подумал Павлушкин и стал втягивать в неприятность Герца всех подряд:

— Ольховик, займи кассу. Не для себя — для сержанта Лысова прошу.

— Нашел у кого спросить, — сказал Ольховик. — На мели я. Сам Литвинову должен.

— А не в курсе, у кого есть?

— Без понятия.

¹ Кровать (тюремный сленг).

— Нужно шарых¹ потрясти, реальных пацанов, — произнес Павлушкин и засосал в трясину еще восемь курсантов, ответивших, естественно, вежливым отказом. — Да вы че, пацаны?! — вознегодовал Павлушкин, потешаясь в душе. — Не для себя — для сержанта Лысова! Мы бы с Герцем отдали как смогли, сразу бы отбились!

— Дашь, а потом жди, — тихо заметил курсант Бушман, в движениях которого была несуетливая энергичность, а в улыбке — смесь почтительной робости и приятного лукавства.

— Значит, ты при бабках, как всегда, — заманировал Бушмана Павлушкин.

— Я вообще говорю, — попятился Бушман.

— Еврей! — соединил Павлушкин синий и красный проводки, и его глаза зло прищурились. — Морда жидовская! Иного от тебя и не ждал. Вечно на пацанах наживаешься. И все к тебе с поклоном. А кто ты без кассы-то? Ноль. Главню, над бабками-то не трясешься, они тебя даже идут, как фирменный костюм. Все время удивляюсь, как это у тебя все красиво, вежливо так, уважительно. Ты от самого процесса тащишься, что ли? Ничего с тобой понять не могу. Барыга, а как будто спасатель. Советами снабдить не забудешь, когда в долг под триста процентов даешь. И советы-то полезные, видно, что добра желаешь. Ты обкради меня по-человечески хоть раз! Как честный вор — обкради! Я тебя умоляю, Бушман! Чтоб ты у меня в башке уложился! Чтоб я тебя сволочью — я не знаю — назвал! Для тебя в этом ничего обидного не будет. Для других — да, а с тобой — вроде похвалы. Какой-то весь не такой. Я вот тоже продуманный — не отрицаю. Кручусь, но не так же, как ты. — Павлушкин устало махнул рукой. — А-а, ладно. Живи как знаешь.

Сержант Лысов попал в незавидное положение. Его мальчишеское лицо с глазами ветерана трех войн посерело от злости. Лысова бесило, что Павлушкин все выставил так, что его (Лысова) не уважают, да еще изловчился равномерно распределить его (Лысова) ярость на треть батареи. Обида и гнев не давали сержанту собраться и остановить глумление над собой. Лысов только и успевал, что скользить взглядом по курсантам, к которым обращался Павлушкин. Банки деликатно отказывали заемщику. Вошедший в раж Павлушкин поднимался до угроз, опускался до упрощивания, пока люди от Москвы до Камчатки (не для красного словца, читатель, просто такая география служивших) наконец не поняли, что

идет замаскированное и победоносное, как велико-отечественная «катушка», издевательство над представителем младшего командного состава. То тут, то там стали проклеиваться улыбки, которые Павлушкин незамедлительно выпалывал незаметными демонстрациями кулака, чтобы всеобщее удовольствие продлилось как можно дольше.

К семи курсантам, принадлежавшим сержанту Лысову, Павлушкин предусмотрительно не обращался. Наперед знал плут, что, несмотря на его плохую кредитную историю, они легко дадут ему займы и даже о процентах не заикнутся. По двум причинам. Во-первых, в случае отказа лысовцы выкажут неуважение к своему командиру отделения. Во-вторых, сигареты им все равно придется покупать, и выгоднее им это сделать через выдачу ссуды, которая рано или поздно (в случае Павлушкина лучше поздно, чем никогда) будет возвращена. Пройдоха даже опасался, как бы лысовские банки сами на него не вышли.

— Отставить, все, — собравшись с духом, произнес Лысов. — Балаган устроили.

— Да есть у них касса, точно вам говорю, — ничего не хотел слышать распалившийся Павлушкин; наглец уже видел в истории с сигаретами собственный интерес и решил воспользоваться моментом для закрытия личных вопросов. — Сильвестров! — произнес он фамилию очередного курсанта как слово «зврика». — Не прячься, не прячься за Гуню. Ты не забыл, что ты мне кассу должен? Короче, купишь на нее сигареты товарищу сержанту, и мы квиты.

— У меня сейчас нет, — с недовольством сказал Сильвестров, и в его голосе читалось, что недоволен он не тем, что у него требуют деньги, а тем, что на данный момент их нет.

— Я б тебе занял, — ощерился Павлушкин, — но у меня как бы тоже нет. Да и как-то не в тему занимать тебе во второй раз. Ты и первый-то должок еще не вернул. Ну, не знаю. У Гуни, что ли, займи, он твой товарищ.

— Гуню не тронь! — резко произнес Сильвестров. — Тамбовский волк мне товарищ, сам разберусь.

— Ты себя с волком позорным не сравнивай, — сказал Павлушкин, как отрезал. — Товарищ — это тебе не тряпка, чтоб его со зверем в одной норе селить. Зря я к тебе обратился. Ты же рад долг вернуть, да? Хочешь, а не можешь. Просто крутиться не умеешь. Натура у тебя не та. А не фиг тогда занимать, понял?! А за товарища ответишь. Товарищ — главное слово на земле, чтобы ты знал. Друг, он что? Он просто друг — и все. Он

¹Сообразительный, ловкий (арм. сленг).

один или два их. Другу надо жилетку подставлять, когда ему хреново. Радоваться, если ему весело. По обязанности все, никакой свободы. А товарищу я всегда рад помочь. Добровольно, потому что он мне ничего не должен, я ему тоже. Так у казаков в Запорожье было. В «Тарасе Бульбе». Которого Пушкин написал. Может, и не Пушкин, не помню. Вообще-то Пушкин у нас все написал, мог и «Бульбу». Делов-то.

— И все-таки — Гоголь, — улыбнувшись, поправил Герц.

— Ну и слава богу, — серьезно сказал Павлушкин. — А то бы Пушкину пришлось, а на него и так вон сколько навалилось. Так о чем я?.. О товарищах. Кстати, вы заметили, товарищ сержант, как я к теме ОГП подвизался? Первый вопрос: «1380 год. Куликовская битва и ее значение». Второй вопрос: «Боевое товарищество».

— Заметил, — процедил Лысов с явным недовольтвом, чтобы Павлушкин понял, что ничто не забыто.

— Я своими словами, можно? — спросил Павлушкин весело и непринужденно, выразив своим тоном полное равнодушие к грядущей сержантской мести.

— Пидор, можно Машку за ляжку, быка — за рога, а в армии — разрешите.

«От пидора слышу!» — заорал Павлушкин про себя, а вслух:

— Разрешите?

— Разрешаю, обезьяна.

— Я, в общем-то, в товарищах не силен, — начал Павлушкин спич, который станет самым длинным в его жизни. — Но так думаю, что товарищи по теории бывают трех сортов: сухопутные, военно-морские и военно-воздушные. В общем, по родам войск. Потом, скорей всего, идут виды. Товарищи артиллеристы, пехотинцы, морские пехотинцы, десантура и так далее. Потом подвиды, как у животных: товарищи сержанты, лейтенанты, капитаны, полковники и так далее. Потом подвиды в подвидах: хороший товарищ, плохой, жадный, веселый, низкорослый, очкомой и так далее. По теории все.

А на практике... на практике за товарища можно умереть. Легко! Друга могут в другую бригаду перевести, и он тебе во время боя может под руку не подвернуться. В общем, одни сложности. А товарищ, он всегда при тебе. Переведут одного — придет другой. Кроме того, друг всегда ждет, что ты его спасешь. Блажит: «Брось меня, брось!» Для красоты орет. Знает ведь, что не бросят, а поторговаться все равно надо. Брось, брат! — Не брошу, брат! Брось, брат! — Не бро-

шу, брат! Брось, брат! — Не брошу, брат! Как минимум три раза перетрут, чтобы убедиться, что они друзья, а не хрен собачий. Тебя, когда раненого несут, ты молчи, силы береги. Тебя дома мать ждет, хозяйство, а ты орешь.

А вот еще фишка. Бывает, что друга и нельзя спасать. Вот Герц, например, наводчик, а мне ноги оторвало. Что же — он должен меня эвакуировать? А гаубица, простите, как? Кто наводить будет? Мог бы Фаня, конечно, но его убило. Фань, без обид, ничего личного. Мне, извини, тоже ноги оторвало. Лежу, культышками бултыхаю. А ты пусть и мертвый, но с ногами. Все по справедливости. Фань, я тебя не потому ликвидировал, что ты как-то свои сапоги ночью на мои поменял, а потому, что ты — классный наводчик. Лучше Герца в два раза. Герц, без обид. Согласись, что Фаня лучше тебя наводит. В общем, нет Фани. Теперь Герца некому подменить, и он просто обязан выполнять задачу, а не меня в санбат волочь. И не эстетично выполнять, чтобы мы со стороны высокохудожественно смотрелись, а так, как Фаня. Я не для того себя покалечил и Фаню угробил, чтобы ты, Герц, на боевом пятачке выделялся. Помнишь, как ты на стрельбах выделялся? Две минуты потеряли!

Я тебе картину-то подпорчу, заранее предупреждаю. Буду визжать от боли, как баба, костерить Родину, которая мне на хрен не сдалась, и умолять меня вынести. А противник — черт с ним, пусть занимает позиции. Думаешь, не сделаю? Слово пацана, что так и будет. Даст бог, и напрягаться-то не придется. Посуди сам. У меня не палец порезан, я себе ноги по самые яйца отчекрыжил. Извини, но пах мне не задело. Но ты сильно-то не радуйся. Это единственное, что во мне осталось от мужика. В остальном — хуже бабы.

Но ты продуманный, я тебя знаю. Ты представишь, что нас не снимают, где есть движение и звук, а фотают. Будешь замирать как-нибудь эдак. Может быть, даже прикроешь мои обрубки плащ-палаткой. Ты забыл, что у меня руки целы. Я раскроюсь. Нате — смотрите! А Фане я кишки вывалю. Фань, прости, но тебе вывалило ливер. Ну, вывалило и вывалило. Какая тебе разница?! Трупы все равно. Может, и не вывалило бы, если бы Герц не искал искусство, где его не просят. А так — вывалило. Вот — печень. Вот — селезенка. Вот твое дерьмо, Фаня. Ты хоть и гадил по жизни как все, но сильно от тебя не воняло. Так — напахивало изредка, когда чужие сапоги сопрешь, воздух испортишь или в сортире не сразу смоешь. А тут из тебя дерьмо полезло, как из меня сейчас. Вонь

дикая! И вид не лучший! Дерьмо разлилось по кишкам и не обломалось, совсем не обломалось облить сердце. Фотай, Герц, если рука не дрогнет. Только сердце уже не красное, как на валентинках, а поносно-желтое, потому что Фаня поел жирного, а нам — сам знаешь — жирное нельзя.

Че притихли, товарищи? Бомблю, да? Но в тему же. О вас же. О подвиге подвига. Разошелся я что-то, и никто не останавливает, главно. Ну, поэтому, наверное, что я вопрос четко раскрываю. Без всяких учебников. Просто день какой-то странный. Как будто сам себе навредить хочешь. Как будто со скалы прыгаешь. Знаешь ведь, что расшибешься вдребезги, но в полете-то дух захватывает, ништяк в самом полете-то. Сильвестров, это я к тому, что ты мне ничего не должен. Ни копыа, я с тебя долг снимаю. Я слишком много нагородил о товариществе, чтобы теперь все испортить. Я сам себя в угол загнал и не жалею об этом. Я сам себя к стенке поставил и сам себя расстреляю. Уже мне ноги оторвало, уже Фаня убит, уже Герц в одну каску оборону держит. И ты хочешь, Сильвестров, чтобы я сейчас все испакостил?! Чтобы вонючая сотка между нами встала?! Ты совсем, что ли?! Ты за кого меня держишь?! — Губы Павлушкина задрожали. — Я товарищей из-за тебя положил, должник ты чертов! Герц мне друг, а Фаня какой мне друг?! Но он мне ни слова против, когда я ему кишки выпотрошил!

По субботним баням курсанты не раз видели Павлушкина голым. Во время помывки они не стыдились его, он — их; обычное дело в мужских коллективах. А вот на нагую душу Павлушкина курсантам смотреть не приходилось. В России душа — женского рода. Словом, курсанты из деликатности стали отводить взгляды от Павлушкина. Им не хотелось, чтобы по их глазам он прочел, что они видели его слабость. Или силу. Курсанты не могли понять, свидетелем чего они стали. Вмешались тонкие матери.

— Вопрос второй: 1380 год. Куликовская битва и ее значение, — пропорол тишину Герц. — Но сначала присказка. Ты вот на меня, Павлуха, бочку катил, а я и без тебя недавно понял, что настоящее искусство в естественности. Искусство — в тысяче оттенков серого цвета, где двести восемьдесят шестой оттенок близок к зеленому, а четыреста восемьдесят пятый — к ярко-красному. Так что не вставал бы я как-нибудь эдак перед камерой или фотиком. Пакостно ты любишь человека, Павлуха. Борзо, неумно любишь. Ты никому и насолить-то толком не умеешь. Пять раз насолить, десять — опреснишь, чудо ты в перьях. Что ж ты себя за это так презираешь? Живот тут Фане

вспарывал. Типа, вот я какой, Фане кишки вскрываю, Герца воспитываю. А че же ты, мясник, рядом с тумбочкой Семенова постоянно сигареты роняешь? Три раза уже ронял. Прямо пройдет, выронит и сам себе верит, что случайно.

— Гон! — вспыхнул Павлушкин. — Может, и выпали раз, я откуда знаю.

— А че ты так испугался? Из-за того, что Семенов — очкомой, и все его должны драть?! Главно, больше всех его гнобит, а потом сигареты ему подбрасывает. Ты давай уже определяйся, с очкомоями ты или с мужиками. А то не по понятиям как-то, хотя сквозь некоторые твои понятия Новый Завет просвечивает. Уж чего-чего, а от понятий такого не ожидал. Скрытно работаешь, правая рука не знает, что делает левая.

— А ты Семенову вообще в открытку¹ помогаешь, — пробурчал Павлушкин.

— А я и не скрываю. Только в отличие от тебя мне плевать на Семенова. Вот честно — плевать. Семенов, без обид, ничего личного. Я за человечеством человека не вижу. Лупу дай — не разгляжу. Через силу помогаю. Чтобы утвердить и увеличить свою силу — помогаю. Энергетическая подпитка у всех разная, у меня такая. Только я Семенова ни разу очкомоем не назвал. Ваши понятия мне уже во где сидят! — Герц придушил ладонью самого себя. — Зона ваша обрыдла. Я Семенова не люблю, не спорю. Зато я зону вашу ненавижу. Это равносильно, что я Семенова через ненависть к зоне люблю. А понятия ваши — ничто, пыль!

— При этом самому на очки запаadlo идти, — сказал Лысов.

— И пойду, но тогда я вас убью, — спокойно, даже не взглянув на сержанта, произнес Герц, как будто речь шла не о жизни и смерти, а о хрене с редькой.

Батарейцы утвердительно закивали головами, что, мол, этот, если вот так говорит, помоем очки и грохнет, товарищ сержант.

— 1380 год, — продолжил Герц. — Поганое иго на Руси. Грамотно выстроенное, а потому — затажное. Татары очень похожи на пчеловодов, русские княжества — на ульи. Потомки захватчиков уже сто пятьдесят лет преспокойно выкачивают мед из сотов. Не полностью. Часть меда предусмотрительно оставляется в рамках, чтобы пчелы с голоду не сдохли. Но не это самое главное. Пчелиная вера не тронута, представьте? Традиции не тронуты, обычаи. Если бы татары все это порушили в начале нашествия, то нас как народа уже не было бы, но и жирная трехсотлет-

¹ В открытую (сленг).

няя дань Золотой Орде накрылась бы медным тазом. В общем, очень грамотно выстроенное игло. Периодически улей окуривается дымарем, если где-нибудь пчелы зажужжат не по-рабочему. Как будто пожар, а на самом деле дым без огня. Так бывает. Кто на пасеке был — знает. И тут появляется мятежная пчелиная матка — князь Дмитрий. Итак, степь между Доном и Непрядвой. Сентябрь. День праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Колышется от ветра ковыль. Реют пестрые знамена князей. Вскрапывают лошади. Полк правой руки.левой. Головной. Засадный. Все мощно и... бесполезно. Еще сто лет игу на Руси быть.

— А ты ниче не путаешь? — спросил Лысов и хотел уже добавить «обезьяна», но побоялся сделать и так уже не свой день еще более не своим.

— Ровно сто! — пригвоздил Герц. — До стояния на реке Угре в 1480-м... У русских воинов и их родных — комплекс неполноценности, психологические зажимы. Несколько поколений плати-

ли себе дань стабильно, и тут на тебе — Донской явился. «Как это поганых бить?» — думают в войске. И действительно. Спокон веку на татар спину гнули, а тут — бить. И все-таки били так, как духи били дедов два месяца назад в махре. А наутро опять все по-прежнему. Потому что не бывает все сразу. То, что столетиями копилось, вмиг на корню не уничтожить. Куликово поле — просто место перелома. После битвы ровно десять десятилетий русские будут постепенно привыкать, что они — победители, а татары — что они побежденные. Пока не слягут в могилы последние, кто платил дань и собирал ее. Сегодня день такого перелома в нашей батарее, товарищ сержант. Сейчас других сержиков нет, но когда они вернуться, вы умолчите и про сигареты, и про Павлушкина, и вообще про все, иначе я вас убью. Пока что не тебя, а вас. Так в 1380-м перед началом сражения пал Пересвет, сразив Челубея. По вопросу — все.

Окончание следует.

